

Евгений Долматович

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАШИ

В тот день, когда Маша узнала, что беременна, за окном сверкали молнии.

Она сидела на полу в своей крохотной комнате и смотрела на тест, гадая, что же ей со всем этим делать. И вот тогда ее лицо озарила первая вспышка. Поначалу Маша не поняла, что это. Быть может, очередной скачок электричества? Такое в доме случалось нередко: лампочки начинали потрескивать, вызревали ярким сиянием и — мгновение ослепительной красоты — перегорали, зачастую осыпаясь дождем блестящих осколков. Хлестко щелкали пробки, все погружалось во мрак. И лишь агония лампочки, вылившаяся в неопишемую яркость, какое-то время мельтешила перед глазами, не успевшими привыкнуть к отсутствию света. Агония в глазах была животной памятью о лампочке, о ее короткой кроткой жизни, дарившей спокойствие и чувство безопасности. Но поскольку лампочка — так, безделушка, то и длилось воспоминание недолго. Моргнешь раз-другой — и все. Трупик лампочки отправится в мусорный бак, ты вкрутишь новую и живешь себе дальше, не обращая внимания на подобные маленькие техногенные смерти.

Но в тот день к Маше пожаловала отнюдь не смерть, напротив — вспышка за окном известила о явлении новой жизни, а тест в руках все подтвердил.

Молнии? В ноябре?

Тогда Маша отложила тест и подошла к окну. Она устало и зачарованно смотрела вдаль, на небо, которое серой чугуной беспросветностью поглощало очертания города. И там, среди зыбких силуэтов осенней хмари, одна за другой расчерчивали реальность белые искривленные линии.

Молнии в ноябре.

Наверное, в тот миг Маша и осознала, что под сердцем она носит Бога.

А может, все было не совсем так?

Может, молнии лишь удивили Машу, оттого и запали в память, но сама мысль об уготованной ей роли наведалась чуть позже? Когда? Вероятно, когда Маша что-то ощутила — нечто иное, чем то, что ощущала обычно. Нечто необъяснимое, пугающее... Впрочем, для Маши, чье образование сводилось к урокам в детском доме, ограниченными стенами самого детского дома, многое было необъяснимым, еще большее — пугающим. Тогда, возможно, мысль заявила, когда Маша начала замечать некоторые явления? Знамения, верно? Что-то выбивающееся из установленного порядка вещей. Тут, увы, тоже не все так гладко, ведь Маше, пусть она и считала себя недалекой, хватило ума понять, что вся ее жизнь — лишь череда однообразных действий и одинаковых лиц. Всякое отклонение уже есть знамение. Только вот обязательно ли то самое знамение?..

Но если ничто не подходит, как узнать, когда Машу посетила такая чудная или, правильнее, чудесная мысль?

А стоит ли гадать?

Сама Маша относилась к этому проще. Да, конечно, время от времени она задавалась вопросом: чего это вдруг она о себе такое возомнила — будто бы носит под сердцем Бога? Живого Бога! Откуда столько чести? Тем более для девушки неприметной, вопиюще заурядной. Она ведь даже в этого самого Бога не верит!

Само собой, в детском доме был священник, именовавший себя «батюшкой» и норовивший привести отвергнутых миром детей к порогу Божьего Царства. Но вначале это был старый надменный священник, в котором добродушное «батюшка» давно уже иссохло, сморщившись в безликое «поп» — звук, как болючее наказание тяжелой ладонью по нежной ягодице. Маша попа недолюбливала, точнее сказать — боялась. Он был строг и смотрел на всех с высоты своего мнимого величия, которым наделил его сан, попутно облачив в пугающую рясу полночного призрака. Как известно, призраки способны привести только к могилам, полным костей, а что до величия, то оно на раз затмевало величие незнакомого и непонятого Бога, якобы говорящего устами церкви, из которой поп явился. В общем, Маша быстро смекнула, что церковь, по сути, тот же детский дом — приют для сирот, уверенных, что их родители где-то есть, любят их, ждут. Такая вера ожесточала детей из детско-

го дома, рано или поздно понимавших, что они одни в целом мире. Ожесточала она, по-видимому, и священников.

А еще про того старого попа всякое болтали. Мол, он сует пальцы мальчишкам под одежду, щупает там, где нельзя. Морщинистые ладони его и вправду были жадны до детских ягод — шутка ли, попа тянуло к попам! — но кто именно распускает слухи, Маша не знала. Тем не менее разразился скандал, и поп исчез. На его место прислали нового. Совсем еще молодой, улыбчивый, с лучистыми небесно-голубыми глазами, он мало чем походил на «попа», вряд ли дорос до «батюшки». Напоминал он, скорее, этакое старшего брата, и нравился Маше гораздо больше. Впрочем, нравился он почти всем девчонкам. Только вот ни к Богу, ни к его порогу он так никого и не привел. А все потому, что за пленительной небесно-голубой лучистостью никакой веры не было, лишь отчаянная попытка уверовать, балансирующая над пропастью неизмеримого ужаса, если уверовать вдруг не удастся. Поэтому священник врал, говоря о Боге, — либо убеждал сам себя, либо бездумно цитировал чужие знания, вдоволь разбросанные по страницам книги в черной обложке. Ни ужас, ни ложь, ни тем более знания Машу не привлекали. Она была типичным детдомовским питомцем — угрюмым, немногословным, недоверчивым — и уже порядком устала от ужаса, за версту чуяла ложь, ну а знания... Что ж, Маша понимала, что Бог, если он существует, непознаваем, а значит, в него можно только верить. И какой, спрашивается, толк от священника, если он сам не верит?

Поэтому и Маша в Бога не верила.

Оттого и была столь диковинной и противоречивой мысль, что нежданный ребенок этот — пока еще только плод, козявочка, вызревающая где-то в животе, — есть самый настоящий Бог. И что к вере Машино деликатное положение отныне имеет куда большее отношение, нежели к безверию. Маленький, приземленный человек, каковым Маша себя считала, не может постигнуть такое за раз. Возникнув однажды, подобная мысль либо сведет с ума, либо будет отвергнута рассудком как смертельно опасная, способная в мгновение ока разметать хрупкое мироустройство одинокой души, растоптать ее мировосприятие, ввергнув весь зримый мир в пучину безумия и оставив лишь выжженную пустошь. Потому и

говорить о том, в какой конкретно момент Маша осознала, что беременна Богом, — бесполезно.

Сойдемся на том, что мысль прокралась к ней, аки вордомушник — знамением, впечатлением, — и угнездилась где-то на подкорке. Она пустила корни в фундамент Машиного разума и умудрилась прорасти там, ничего не разрушив, не повредив шаткого каркаса, коим являлось Машино представление о мире и всем, что в нем происходит.

Так, по мере того, как набухал живот, Маша и приходила к пониманию, кем является ее ребенок.

Стоит заметить, что вопрос отцовства Машу не шибко волновал. К тому моменту, как она окончательно убедилась в своей новой роли, вопрос этот и вовсе стал бессмысленным. Но даже до тех пор он ее мало заботил.

Рожденная в начале сентября, по гороскопу Маша значилась Девой — знак, которому приписывают красоту, элегантность. Всего этого Маша была лишена. За свою жизнь она успела смириться с тем, что является женщиной номинально — тенью, жалким подобием, но никак не самой женщиной. Мужчин она не интересовала совсем: они не оборачивались ей вслед, не делали комплиментов, не назначали свиданий, просто не замечали. И, подходя к зеркалу, Маша легко находила ответ на застрявший в горле вопрос «почему?». Отражение насмехалось над ней, оно было плевком, а то и пощечиной ее женской гордости. И за градом этих плевков и пощечин от гордости со временем не осталось и следа. Так в Маше умерла женщина — тихо, без лишних треволнений и тем более каких-либо вспышек на манер тех, что оставляют в памяти перегоревшие лампочки. Если лампочки умирали красиво, то женщина в Маше была обделена и этой мимолетной красотой — она умерла неприметно, обыденно. И единственной радостью, которую принесла эта смерть, было то, что отражение в зеркале перестало издеваться над Машей. Никаких больше плевков и пощечин.

Увы, это правда, что порой необходимо убить в себе женщину, чтоб примириться со своим отражением.

Заодно вместе с женщиной в Маше умерли и окружавшие ее мужчины. Сгинуло все, что смущало до сих пор: фривольные вопросы и ухмылки, услышанные краем уха намеки, сальные шут-

ки, широко расставленные ноги, хитрый блеск из-под бровей. Не волновала больше форма подбородка и ширина плеч, не привлекали грубые руки с мозолистыми пальцами, не учащался пульс, если нос вдруг улавливал терпкий запах мужицкого пота. Нет, бесследно они, конечно, не исчезли, взамен даже кое-что приобрели: непривычно звучащие имена, чудаковатые повадки. Они обросли множеством нюансов, выделявших их среди прочих людей, но как мужчины перестали полностью существовать. Поэтому Машу и не беспокоил вопрос отцовства.

В большой черной книге было сказано, что первое рождение Бога произошло от обычной женщины с точно таким же, как у Маши, именем. Рождение то стало результатом чуда, которое книга называла «непорочным зачатием».

Вот и Маша считала, что зачатие ее ребенка было непорочным. Простим же ей эту непредумышленную ересь, ведь с оглядкой на знак зодиака, как бы двусмысленно оно ни звучало, все сходится: Девой Маша зачала, Девой Маша родит и Девой останется!

Иногда, конечно, ее изводили сомнения — таки Маша была все-го-навсего человеком, самым обыкновенным человеком, — и тогда она принималась вспоминать, цепляясь за разрозненные образы. Получалось с трудом. В голове мелькали цветастые кляксы, густилась-вихрилась темнота, громоздились размытые фигуры. Случалось, сквозь мглу прорывались слова, звуки. Но общей картины не складывалось, а то небольшое, что имелось, — неизвестно, было ли оно правдой или выдумкой.

Одно Маша помнила наверняка: внезапно нахлынувшую тоску, которая и погнала ее тем вечером из дома, заманила в какое-то шумное заведение. Вообще, Маша не была сторонницей подобного: большие скопления людей пугали, гром голосов и смеха оглушал. Поэтому она предпочитала коротать вечера в своей уютной квартирке, вязать себе кофточку или свитер, смотреть телевизор. Тоска же — этот затухающий отголосок былых мечтаний, наивность никому не нужной девчушки, стремящейся как можно скорее вырваться из детского дома в большой светлый мир — объявлялась все реже и реже. Казалось, растоптанная годами одиночества и людского пренебрежения, тоска и вовсе смолкла... Как бы не так!

Не сумев себя побороть, Маша быстро оделась, причесалась и, миновав позабытое зеркало, низверглась в зябкость улицы. Так и

очутилась в том самом заведении, где прикупила себе алкоголя, попыталась расслабиться, проникнуться музыкой. Именно тоска швырнула Машу в гуцу танцующих, и именно тоска — как будто бы на последнем издыхании — обернулась пьянящей яростью, неутолимой жаждой движения, жизни, людского внимания. Нет, это не алкоголь вскружил Маше голову и вовсе не та таблетка, которую за денежку всунули ей в ладонь и которую Маша, не раздумывая, проглотила. Это все была тоска — посмертная судорога запертой в теле души, прежде чем душа эта окончательно смирится со своей участью, примет ее, впитает и обернется ничего не значащим прошлым.

А когда танцевать стало невмоготу — перед глазами все плыло, сердце колотилось, как ненормальное, — Маша выскочила на улицу вдохнуть свежего воздуха. Стошнив полный рот кислой пакости, она сплюнула, откашлялась, фыркнула, распрямилась и... узрела ангела.

Конечно, на тот момент она знать не знала, что это ангел. Ее разум был слеп к чудесам и знамениям, а самое главное чудо — чудо непорочного зачатия — ей еще только предстояло пережить. Поэтому тот, кого она узрела, не имел названия, ибо давно известно, что в языке безбожника не сыщется нужных слов, чтоб описать божественное. И, не придумав ничего лучше, Маша остановилась на самом банальном и безликом определении, обозначив явившегося к ней гостя как «существо неземной красоты». Позже-то, разумеется, она все поняла и впредь именовала его не иначе как «ангел».

Ангел, который приехал на ржавенькой «девятке».

Боясь спугнуть наваждение, Маша резво запрыгнула в машину, устроилась поудобней и все смотрела на ангела, смотрела и смотрела, и никак не могла налюбоваться — настолько он был прекрасен!

Спустя полгода, по крупицам выковыривая из памяти эти события, Маша нехотя призналась себе, что, будь он человеком — мужчиной на манер тех, кто захаживал к ней в магазин купить сигарет или бутылку водки, — она бы даже не взглянула в его сторону. Ангел был смугл лицом, лопоух и имел золотой зуб. В целом походил на цыгана. Тем не менее Машу это не остановило. Набравшись смелости, она протянула руку и коснулась его лица, ахнула, почувствовав грубую кожу его щеки, залилась краской, заметив его улыбку, даже готова была разрыдаться от счастья, когда он стис-

нул ее ладонь, галантно приложил к своим губам. Ангел что-то сказал, Машу оглушил звук его голоса. Ангел провернул ключ в замке зажигания и повез Машу куда-то за гаражи.

Именно той ночью Святой Дух снизошел на Машу, вошел в нее и излился Небесной благодатью.

Именно той ночью свершилось чудо непорочного зачатия, и Маша понесла Бога.

Но чудо чудом, а что, собственно, делать дальше?

По мере того, как близился день родов, Машу все чаще донимали тревоги. Нет, она нисколько не сомневалась, что в животе у нее растет-цветет Бог, но понятия не имела, как ей следует вести себя в роли мамочки. Отличается ли новорожденный Бог от простого ребеночка? Нужно ли варить ему каши, кормить с ложки, приучать к горшку? А если у Бога начнутся колики или (не приведи Господь) на попке появятся высыпания — он себя сам исцелит, или все же придется бежать в больницу?

В черной книге на этот счет никаких советов и подсказок не было. Черная книга вообще была крайне бессодержательна в любых вопросах, касающихся хлопот материнства, больше внимания уделяя свершенным чудесам да скучным наставлениям. В одном месте, правда, Маша наткнулась на что-то, касающееся «обрезания младенца Иисуса». Слово «обрезание» ей не понравилось сразу — веяло от него чем-то жутким. А узнав, что за этим словом стоит, Маша и вовсе побледнела, затем скривилась, а после сплюнула. И кто, спрашивается, удумал такую гнусность? Зачем?! Это ж уму непостижимо — калечить мальчишку, уродуя ему пипку!

Вдоволь повозмущавшись, Маша начала догадываться, что, раз уж об этом написано в черной книге, стало быть, это зачем-то надо. Возможно, речь здесь именно о делах божественных, недоступных ее скудному пониманию? Может, Богу не нравится крайняя плоть у него на пипке, вот добрые люди и изобрели обрезание? Или же...

Так размышления завели ее в край фантазий, наполненных домыслами и примитивными чудесами. Неспособная разобраться в сложной религиозной символике древних семитов, Маша свела жуткую процедуру к двум простым тезисам: либо новорожденный Бог и вправду недоволен своей крайней плотью, либо этот кусочек кожи необходим людям. И если с первым все ясно как божий день,

то во втором случае открывался простор для мифотворчества. Маше не раз доводилось слышать о поклонении святым мощам — причуде, из-за которой набожные валяются ниц перед различными мумиями и отдельными частями тел. Что же произойдет, если таким чудачкам подарить частицу Бога? Наверняка, рассуждала Маша, они сделают ее реликвией — самой ценной среди имеющих! — начнут молиться ей, возить из города в город, а затем, не договорившись, перегрызутся, развяжут кровопролитную войну. Так что лучше ничего им не дарить. Вместо этого кусочек божьей пипки можно зарыть в землю, откуда однажды вырастет красивое деревце с вкусными... чем?

Маша покраснела, хихикнула.

Настроение у нее в последнее время сменялось молниеносно: секунду назад она тихо всхлипывала, укутавшись с головой одеялом, и вдруг срывалась кружить-танцевать по комнатке. Врачица успокоила, сообщив, что такие перепады — явление для будущих мамочек вполне обыденное. Как и рвота по утрам, как и отяжелевшая грудь. Маша слушала с недоверием. Больницы пугали еще со времен детского дома: за каждым белым халатом скрывалась боль, за каждой улыбкой — подвох в виде шприца или стоматологических щипцов. В этот раз вроде бы никакого подвоха не было: беременность протекала на удивление гладко, ребеночек был здоров и смирно, лишь изредка попинывая Машу в печень, булькал в околоплодных водах, дожидаясь своего часа. И все же Маша нет-нет да одаривала врачиху косым взглядом. Рассказать же о том, что сын ее не абы кто, а сам Бог, так и не отважилась.

Поэтому и тревоги никуда не делись — являлись неожиданно-негаданно непрошеными гостями и учиняли расправу над беззащитной Машей, пока одним погожим днем вовсе не загнали бедняжку в церковь.

Мысли идти туда Маша сопротивлялась до последнего, ей было одновременно и страшно, и неловко. Поскольку ни первый, ни второй священники в детском доме со своей задачей не справились, обо всем церковном Маша имела весьма смутные представления, а религиозная атрибутика вызывала сплошное недоумение. В целом церковь по-прежнему ассоциировалась, скорее, с наказанием за малейшую шалость, чем с любовью к детям своим. Да и тот факт,

что при таком обилии церквей и храмов вокруг Маша всю жизнь прожила сиротой, наталкивал на определенные размышления.

Внутри храма было гнетуще сумрачно, пахло благовониями, толпился народ. Народ преимущественно из старух, брошенных родней на произвол судьбы и отчаянно пытавшихся подластиться к Богу, чтоб уж после смерти заполучить себе уголок потеплей. Поскольку Бог в этот день был явно недосягаем, взгляды старух приковались к толстому бородатому попу, который нарочито утяжеленным голосом тянул нараспев стихи, в то время как с краев и откуда-то сверху ему вторил хор. Так, сама того не ведая, Маша заявила в разгар службы. Было душно, потно и неудобно. Старухи то и дело крестились, клокотали бронхитом, причмокивали и вздыхали в унисон, выпуская из-под своих траурно-черных платков могильный холод, от которого трепетали огоньки свечей. Молитва же была на церковнославянском, поэтому Маша не особо вникала в слова. Вместо этого, пробираясь меж костлявых старушечьих локтей, любовалась росписью на стенах, пыталась разглядеть из-за кивающих голов иконостас, где рядами шли лики всевозможных святых, гадала, что же скрывается по ту сторону Царских врат. В общем, осваивалась.

И пока она свыкалась с этой чужой и чуждой для себя обстановкой, вокруг что-то переменялось, стихла молитва, а старухи вытягивали шеи. Прочистив горло, поп призвал возвеличить кого-то, заструилась песнь:

Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моём.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

И Маша застыла как громом пораженная. Она вдруг поняла, для кого звучит эта песнь, а поняв, впервые примерила на себя новый титул — богоматерь. Не та, конечно, что на иконах — с вытянутым лицом, прямым носом и запавшими миндальными глазами. Вовсе не Мария, а просто Маша. И все же Madonna, как сказал бы про нее итальянец, Notre-Dame — воскликнул бы верующий француз.

Мы же, смиренно поклонившись, ознаменуем ее Богородицей Машей.

Да, она облачилась в этот незнакомый титул, покрутилась перед мысленным зеркалом, и, что греха таить, ей это понравилось. До этого она как-то не задумывалась, что, будучи матерью Бога, попутно становится и богородицей. Но теперь, находясь в окружении всех этих икон, слушая, как поп тянет песнь в ее честь, как подвывает хор, как кряхтят-шелестят набожные старухи, Маша вдруг испытала всю полноту важности своей жизни. Ведь, по факту, обычная Маша была никому не нужна и, будем честны, крайне бесполезна для мира. Продавщица в местном продуктовом — вот апогей ее достижений, вся ее ценность для рода человеческого. Правильно выдать сдачу или, если образовалась очередь, открыть вторую кассу, позвать менеджера, чтоб уладил конфликт с недовольным клиентом. Все. С Машей-богородицей дела обстоят иначе — никакая она больше не тень, но та, о ком напишут в черной книге, кому уготовано место на иконах.

Маша с трудом сдержала улыбку, подумав, что однажды попы запоют уже в ее честь, как и ей начнут поклоняться старухи. Ведь ни те, ни другие никогда никуда не денутся, так и будут в этом и всех прочих храмах. Попы и старухи вечны, чего нельзя сказать о богородице — именно мимолетность ее пребывания в нашем мире делает ее чудом.

Маша уже готова была всплакнуть от столь поразившей в самое сердце мысли — она, Маша, тоже является чудом! — как вдруг кто-то дернул ее за рукав. Среди сторбленных спин и костлявых локтей проступило морщинистое лицо, впалый рот разверзся и из образовавшейся дыры вместе со смрадным дыханием хлынул шепот. Старуха пыталась что-то втолковать Маше, отчитывала, что та не поет со всеми, что приперлася без платка и прочее, а вместе с тем рыскала по Маше хищническим взглядом. Сначала усмотрела выпирающий живот, потом увидала и палец без кольца. Вмиг старуха для себя все решила, и Маша сделалась в ее глазах вместилищем не Бога, а порока, не девицей пречистой, но всего-навсего беспутной девкой, заблудившейся по дороге к панели блудницы, осквернившей своим присутствием божий храм.

Конечно же, старуха ничего не знала про Машу, просто та ей не понравилась. Ей вообще не нравилась молодость. А еще старуха считала, что храм, как и все церковное, — это исключительно вотчина старух, вернее, их личное отхожее место, где только они

одни имеют право опрастываться от накопленных за долгие годы грехов.

Так шепот перешел в шелест, шелест же обернулся змеиным шипением. На это стали обращать внимание остальные старухи, их слюнявые языки терлись-шлепались об беззубые десны, в святость храма выплескивались отнюдь не святые слова. Старухи ядовито шипели о диаволе в женских волосах, об ублюдках, принесенных в подоле. Маша могла бы возразить, что диаволу, как и любому мужчине, вряд ли есть дело до ее жиденьких волос, а что касается ублюдков, то в ее случае вопрос этот весьма щекотливый... Старухи напирали, и перепуганная Маша попятилась к выходу. Вытесненная в притвор, едва не оплеванная, она из гордости еще помышляла купить свечечку, настоять на своем и, пробившись сквозь бушующую толпу, запалить огонек под иконою той Марии, что пришла в этот мир первой, задолго до Маши. Но, увидав цены, передумала, решив, что лучше вкрутит дома новую лампочку, которая, по сути, не шибко-то отличается от церковной свечи — точно так же разгоняет тьму светом, этим даром небесным радует душу и вселяет в сердце надежду.

Уже шагая по улице, Маша вспомнила свои давнишние подозрения насчет церкви и лишь сильнее в них утвердилась. Видимо, церковь — и вправду всего-навсего приют, в котором шайка напыщенных безотцовщин сочинила себе некоего заоблачного отца и теперь денно и нощно воют у него под окнами, дабы обратил уже, наконец, на них внимание. А еще, вне всяких сомнений, церковь — это большущий магазин, куда Маше проще устроиться на работу (как ни крути, а опыт продавщицы у нее немалый), нежели убедить прихожан в том, что ей предстоит произвести на свет Бога.

Мысль показалась забавной, Маша улыбнулась, даже хохотнула, и все ее беспокойства как рукой сняло. Рассудив, что впредь сама со всем справится, она помчалась домой — посмеиваясь, едва ли не вприпрыжку. Такова природа смеха — выдворять печали, развеивать тревоги. И, быть может, оттого церковь долгое время смотрела на смеющихся косым взглядом, обнаруживая в них не желанных прилежно кающихся горемык, готовых на все во искупление грехов, но балагуров, ветрогонов, а то и бесноватых. Оттого и грозила им пальцем, восклицая: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете!» — либо нравоучительствуя: «Серд-

це мудрых — в доме плача, а сердце глупых — в доме веселья», — и еще по-всякому призывая к порядку. Так порядок, по мнению церкви, есть смиренность ничтожества, а радость мирскую нужно гнать вон.

Не возьмемся судить о правильности такого подхода, лишь заметим, что описанный нами случай был первым и единственным случаем явления Богородицы Маши во храме.

Тем же вечером Бог попросился наружу, у Маши отошли воды.

В родильное отделение местной больницы ее привезли ближе к ночи. Провели в общую палату, где уже лежало несколько девиц на сносях, заставили переодеться и тут же погнали в душ. Там Маше всучили безопасную бритву, велели тщательно выбрить подбрюшье. Бриться было неудобно, с трудом получалось наклоняться. Помогать, разумеется, никто не спешил. Медсестры ходили фуриями, сердито отмахивались, а если что и говорили, то чаще всего грубость. Смотрели они на Машу холодно, и единственным утешением было то, что так они смотрели на всех рожениц.

Маша, конечно, подумывала донести до врачебного персонала свидетелями какого чуда им предстоит стать, но в итоге решила хранить все в тайне. И правильно, ведь во врачах и медсестрах настолько уже выгорело человеческое, что даже сообщив им Маша о грядущем рождении Бога, они бы вряд ли как-то отреагировали. Всему виной издержки врачебной профессии, когда любое событие — неважно, великое ли это чудо или самый неприметный пустячок — сводится лишь к набору необходимых действий. В автоматизме нет места ни удивлению, ни восхищению, ни состраданию, да и среди нескончаемой людской боли душа очень быстро черствеет. Поэтому рассказывать врачам и медсестрам о Боге — затея столь же бестолковая, как глас вопиющего в пустыне.

В общем, Маша смиренно помалкивала, стискивала зубы при схватках и в меру своих сил выполняла все, что от нее требовали. Утешало одно: что первая богородица — та, которая Мария, — также рожала не в самых благоприятных условиях. В какой-то пещере, среди песков. «А ведь в пещере всяко хуже, чем здесь», — мысленно убеждала себя Маша, разглядывая искрошившиеся стены операционной, почерневший от плесени потолок.

Сами роды она не запомнила. Память выжгло агонией — ослепительной яркостью, затопившей все вокруг, подобно смерти тысячи несчастных лампочек, таких маленьких солнц. В какой-то миг Маше почудилось, что это взаправду смерть — не чья-то там, а ее собственная, все эти годы следовавшая за ней по пятам и вот наконец настигшая.

Так Маша металась в бреду, пока безучастные ко всему врачи отворяли ее нутро и вынимали младенчика, пока перерезали ему пуповину и шлепали по попке, дабы вдохнул уже полной грудью и огласил мир своим плачем.

Дабы вспомнил, какова на вкус боль и как тяжело жить в этом мире.

А Маша закатывала глаза, и свет, струящийся откуда-то сверху, становился все ярче и ярче. Больница была таким же стареньким зданием, как и дом, где жила Маша, и здесь регулярно скакало напряжение. Флуоресцентные лампы грозно рокотали, вызревая белизной, и белизна эта окутывала полубеспамятную Машу, норвила забрать с собой — в самую яркость, в свет предвечный, откуда новорожденный сынишка ее сошел в бранный человеческий мир.

А потом внезапно свет исчез, и явился заляпанный кровью младенец, буквально вышел из белизны и взял грудь матери своей Маши.

Уже наутро с нее спросили имя для ребенка, и тут Маша приуныла.

«Иисус» ей никогда не нравилось. За те тысячелетия, что род людской мусолил это имя, пачкая его своими устами, из «Иисуса» окончательно улетучилась вся красота, оно стало каким-то безликим, рыбьим. Да и ассоциировалось, скорее, с телом на кресте, нежели с тем бородатым красавчиком, какого изображали в бесплатных брошюрках. Ну кому, скажите на милость, захочется называть ребеночка в честь тела на кресте — пусть и самого известного в мире?!

Про различные прочтения непроизносимого иудейского тетраграмматона и вовсе лучше промолчать — всю эту белиберду Маша не понимала и не принимала. Даже концепция триединого Бога для нее была темным лесом, о чем уже наверняка догадался читатель. Выпросив у соседки по палате черную книгу, пролистав ее и наивно совместив Иисуса и Яхве-Иегову в единое «бог» — что,

при ближайшем рассмотрении, не так уж и наивно, — Маша тем самым получила в свое распоряжение еще несколько вариантов. Помаявшись часок-другой, пришла к выводу, что не желает называть сынишку подобным образом. Все в ней бунтовало против навязанных черной книгой имен, хотелось придумать самой, как это делали остальные мамочки. В конце концов, пусть сын и является Богом, имя-то ему дать она имеет полное право! Благо, что и смуглолицый ангел никаких распоряжений на сей счет не оставил.

В общем, думала Маша два дня и в итоге остановилась на имени одного мальчишки из детского дома. Тот мальчишка частенько ее донимал, подглядывал за ней в туалете, неслышно ходил по пятам и дергал за косички. Его присутствие ощущалось повсеместно. И если в детстве это раздражало, а порой натурально доводило до слез, то с годами Маша сменила гнев на милость, даже начала испытывать благодарность. По сути, тот мальчишка был единственным мужчиной, который рассмотрел в ней женщину.

И именно в его честь новоявленный Бог получил свое имя.
Игорь.

Через неделю их выписали. Маше вручили попискивающий кулечек, откуда на нее изумленно таращился Бог Игорь, и спроводили к выходу. Никто их не встречал, так как в целом мире никого у них, кроме друг друга, и не было. Повздохав, Маша вызвонила такси и, прижав кулечек покрепче, отправилась восвояси.

У подъезда ее поджидали трое бродяг. Маша натыкалась на них и раньше — оборванных, чумазных, пришедших неведомо откуда и почему-то облюбовавших именно здешнюю лавочку. Она побаивалась их, так как иногда они что-то отрывивали ей вслед, нагло посмеивались. Она видела их недобрые взгляды. И в этот раз они смотрели точно так же — недобро, выжидающе, с едкой усмешкой, кроющей их пропитые физиономии. Маша вся напряглась, прижала Бога Игоря к себе. Взгляды бродяг метнулись к кулечку, плотоядно ощупали его, застыли на миг, а потом... что-то в них изменилось, случилась какая-то вспышка, как если бы звезда — яркая, путеводная — сорвалась с неба и шмякнулась на дно выгребной ямы, осветив все ее непотребства. Бродяги стушевались, узрев эту гниль и плесень, всю свою подноготную. Им стало стыдно и неловко. Ища спасения от самих себя, они вновь обратились к младенцу,

встретились с ним глазами и заулыбались. И вся их манера поведения враз переменялась, стена черствости и грязи была сломлена видом смеющегося Бога Игоря. Бродяги заискивающе отодвинулись в тень, и лишь тогда осознание их настигло.

Они поняли, что стали свидетелями чуда.

Они поняли, кого именно видят.

И теперь, казалось, были готовы пасть перед Машей на колени, молить о прощении, о благословении. Но так как времени уже не оставалось — Маша почти вошла в подъезд, — первый из них, не произнеся ни слова, лишь кивнул ей и протянул наполовину пустую бутылку дешевенького вина. За ним оживился второй и с точно таким же кивком отдал Маше распечатанную пачку сигарет. Третий, смутившись на секунду, быстро пошарил по карманам и извлек единственное, что у него, по-видимому, имелось — коробок спичек.

Бродяг звали Колян, Борька и Михалыч, и таковы были их дары.

Здесь стоит сделать отступление, дабы пролить свет на произошедшее. В отличие от Маши нам известно, что в этом мире ничто не происходит просто так, у всего есть какая-то цель, в крайнем случае — значение. Как бы безбожники ни воспевали всеобщую причинность, которую они по-умному зовут детерминизмом, как бы ни кичились своей изошренной наукой, в основе всего был и остается Замысел Творца. Нам не дано разгадать этот Замысел, ибо невозможно смертному постичь мысль Бога, и все что остается — лишь предполагать. Так предположим же, что дары этих дворовых королей не были обычными безделушками, но — без преувеличения — несли в себе смысл. Пусть и иносказательный, но все же.

Итак, предположим, что дешевенькое вино в захватанной бутылке — не просто пойло, но символ жертвенной крови, дар божественному. Прирученный же в коробке спичек огонь равнозначен власти, обретенной человеком над стихией. Это подарок тому самому человеку из плоти и крови. Ну, а никотин — это, вне всяких сомнений, милость, скромное утешение обреченному на смерть.

Вероятно, Маша и сама что-то почуяла — некую подоплеку, скрытое от праздного взгляда значение. В общем, она не стала обижать бродяг и молча приняла их дары.

А поднявшись на свой этаж и отперев входную дверь, протиснулась в узкий коридор и впервые за долгое время застыла перед

зеркалом. В отражении на Машу смотрела румяная запыхавшаяся растрепанная со впалыми щеками и лиловыми подглазинами — та, на кого не взглянет ни один мужчина. Но тут гулькнул Бог Игорь, и все вдруг преобразилось. Маша узрела себя по-иному: богородицей с новорожденным божеством на руках.

С тех пор она перестала сторониться зеркал, напротив, частенько любовалась собой, обнаруживая в отражении не надгробную плиту умершей когда-то женщины — вовсе нет! Теперь она лицезрела в нем икону самой себе.

Как известно, в начале было слово, и слово было у Бога, и первым словом Божьим было:

— Агу!

Всего три буквы, образующие два слога. Но затем последовали другие, более сложные:

— Куля! Вя-ака! Пфы-ы-ыл!

Новорожденный Бог вообще оказался весьма разговорчив, слова сыпались из него, как из рога изобилия. Непонятные, но не бессмысленные. И нет, мы не станем рассуждать здесь о природе логоса, того хуже, разбираться в денотативном и коннотативном значениях — пусть этим занимаются книжники, мудрецы и те, кто себя таковыми считает. Мы лишь заметим, что смысл изреченного всегда очерчен разумом того, кто внимает. В конце концов, мало кто из ныне живущих или живших когда-либо смог бы постичь то первое слово, с которого начался мир. Стало ли оно от этого бессмысленным?

В общем, Бог Игорь был разговорчив. А еще — крайне любознателен. Он с неподдельным интересом пялился на Машу, на лампочку под потолком, на собственный палец. То, до чего мог дотянуться, непременно пробовал на вкус. Окружающий мир был явно небезразличен новорожденному Богу — настолько, что у Маши закрались подозрения: может, Бог и вовсе ничего об этом мире не знает? А вдруг он и вправду ничего не знал! Сидел там себе на облаках и ведать не ведал, что творится внизу, на земле. Это многое бы объяснило, разрешило бы накопленные за тысячелетия вопросы, свело бы всю теодицею к одному простому ответу. Всенепременно, ворчунов бы такой ответ не удовлетворил, снова бы затянули старую эпикурейскую шарманку о парадоксе мира, полного зла

и насилия, при наличии доброго, всемогущего божества. Но что, если Бог попросту малость рассеян? Да, качество исключительно человечесье, так ведь люди — созданные по образу и подобию — во все времена наделяли Бога человеческими чертами, когда это выгодно, и лишали его этих черт, когда невыгодно. Взять хотя бы тот факт, что в черной книге ни сам Бог, ни его воплощение в Иисусе ни разу не смеялись, а Бог Игорь, напротив, увидит какую-нибудь штучковину и тут же заливаётся. А уж если Маша ему рожу скорчит или козу сделает, то и вовсе не угомонить.

Конечно, случалось ему и поплакать, и покапризничать — частенько оно происходило по ночам. Только пеленки намокнут — и на тебе, как говорится, ор на весь двор. Тогда заспанная Маша устало сползала с кровати, меняла пеленки, наворачивала круги по комнате, баюкая хнычущего Бога. И в такие моменты от Бога в нем было всего ничего — обычный младенец, кроха, жаждущая внимания. А уж когда он обхватывал губами Машин сосок и, причмокивая, засыпал, все то сияющее златом величие, которым так гордится церковь, словно бы меркло, обращаясь в фальшь, в сусальную показуху. Маша укачивала своего ребенка, томно нашептывала ему слова любви, пела песенки и понимала, что с какой бы целью он ни явился в этот бранный мир, в данный момент ему хочется лишь теплоты, ласки и титю.

Старая мудрость гласит, что творец проявляет себя в творении. Стало быть, верно и то, что творение не только отражает наличие творца, но, зачастую, раскрывает и его черты. Поэтому иногда ситуация диаметрально менялась, и Бог Игорь принимался натурально по-скотски изводить Машу. Он кричал, бедокурил и прочими способами лишал ее сна.

«Боже!» — вздыхала Маша, не зная, куда себя деть. А потом вдруг замирала, удивляясь странности и абсурдности этого восклицания. Привычное словоупотребление обретало совершенно иные смысловые оттенки, если речь шла о живом Боге. Возмущалась ли Маша, сотрясая воздух вымученным «Боже!», или же обращалась к своему сыну? Со временем это стало даже своего рода игрой. Выходя утром на прогулку, Маша улыбалась и, поглядывая на младенчика в коляске, торжественно и многозначительно выдавала: «Ну, с Богом!» Успев на отходящий автобус, мурлыкала: «Слава Богу!» Заметив бредущего по тротуару и горланящего пес-

ни забулдыгу, ворчала, кивая на коляску: «Побойся Бога!» — бывало, что забулдыга тут же замолкал, начинал расшаркиваться и просить прощения.

В целом же, к вящему Машиному облегчению, Бог Игорь злым не был — да, он мог покапризничать, любил пошалить. Но в остальном это был улыбчивый и жизнерадостный младенец, который, среди прочего, обожал купаться. В ванне он радостно гулькал, плескался, то и дело пускал попойкой пузыри — так дух божий носился над водой. Маша же, наблюдая за его весельем, размышляла о том, что однажды он начнет по этой самой воде ходить — таково одно из множества чудес, каковыми он удивит мир.

Правда, пока что мир ограничивался медсестрой из роддома, которая навещала их дважды в неделю и явно не планировала чему-то там удивляться. Она следила за самочувствием новорожденного, расспрашивала Машу о всяком, а мимоходом объясняла, как обращаться с ребеночком: как его правильно пеленать, как купать, чем и сколько раз в день кормить, когда подрастет. И хотя на заявления Маши — де, «Бог даст, справлюсь» — медсестра сама всем своим видом дала понять, что ни в каких богов она верить не верит, толку от нее оказалось куда как больше, чем от той же черной книги.

Среди прочего медсестра посоветовала Маше почаще гулять и заодно подружиться с другими мамочками. Мол, это и для Машиной психики полезно, и для психики ребенка, которому также необходимо общение. Маша совету вняла и как-то раз, присев в парке на лавочку, осторожно прислушалась, о чем там щебечут мамочки по соседству. Мамочки щебетали о «пописах и покаках» своих ненаглядных дитятей, и Маша решила, что ей попались какие-то дуры. Дружить с такими не шибко-то хотелось, а других поблизости не было.

Тем не менее, в наивности своей предполагая, что она просто неверно их поняла, дома Маша на всякий случай распеленала Бога Игора и тщательно осмотрела его подгузник — ничего примечательного не нашла. Покаки Бога ни в чем не отличались от того, что оставляют в подгузниках обычные человеческие младенцы. А вспомнив про черную книгу, Маша, давя смущение, изучила и Божью пипку. С виду пипка как пипка, крайней плоти всего ничего, и, поразмыслив, Маша пришла к выводу, что обрезание Богу Игорю точно не требуется. Оно и к лучшему.

Стоит добавить, что Маша теперь много о чем размышляла. Например, проходя мимо детского сада, она с интересом разглядывала игравших там детей. Дети были самые обыкновенные, всем им предстояло вырасти и стать кем-то: продавцами, бандитами, мужьями и женами. Обычная человеческая судьба. И никому из них не предстояло стать Богом. Мысль эта будоражила память, поднимая со дна забвения вычитанные когда-то слова: «Как нет среди детей равного Сыну моему, так и ни одна среди жен не сравнится с родительницей Его», — и от этого Машино сердце начинало биться чаще, она даже любовалась собой в отражении витрин.

Конечно же, Маша размышляла и о диаволе — извечном противнике Бога. В ее бесхитростном представлении, отменявшем традиционные, взращенные средневековым образом, диавол имел весьма приземленный вид. Как вариант — чернявого жилистого хулигана, который бы непрестанно изводил подрастающего Бога, по-всякому отравлял бы ему жизнь. И звали бы этого хулигана как-нибудь не по-русски, например, Магомет. Сметливый читатель легко углядит тут некое символическое противопоставление христианства исламу, намек на давнюю вражду, но, уверяем, ни о чем таком Маша не думала. Просто она побаивалась представителей восточных народов, поражаясь их наглости и агрессивности. Рабочие часы в магазине лишь упрочили этот страх, личный опыт добавил в него красок.

А вот что касается чудес, то тут все очень неоднозначно. Естественно, Маша никак не торопила Бога Игоря — пускай еще подрастет, окрепнет, прочувствует свою силу, — но чуда ждала. Не такого, конечно, как в черной книге: рано еще ему баловаться с вином, да и наблюдать у себя на пороге толпы страждущих, явившихся поживиться дармовыми хлебами с рыбой, Маше не больно-то хотелось. Но, как уже было сказано, чуда она ждала. Хоть какого-то! Сущую безделицу! Не станем винить ее за это, так как зародившаяся вера ее по-прежнему представляла собой наваристую кашу из ребяческой непредвзятости, яростного желания поверить и скупого рационализма. И если первое со вторым можно объяснить исключительно тем, кем являлся ее ребенок, то вот рационализм имел куда более глубокие корни: весь Машин жизненный опыт. Будучи в здравом уме, ни один человек не способен зараз отбросить все, чем является, и слепо нырнуть туда, куда до этого поглядывал с

недоверием. А вера, как нам известно, требует именно слепоты — авраамического прыжка, которым так восхищался датчанин Кьеркегор. В противном случае это уже не вера, а знание. Увы, мало кто на такое способен, ведь нелегко принять тот факт, что осмеянный и оплеванный бродяга, прибитый к кресту, не избавил себя от мучений вовсе не потому, что не мог, но исключительно во имя свободной, лишенной оков чуда веры. Нет, для большинства из нас чудеса необходимы. Вот и Маша ждала этих самых чудес. Ходила ли она вокруг колыбельки, поглядывая на сына, меняла ли ему пеленки, кормила ли грудью или же напевала песенку — она, так или иначе, ждала чудес.

Бог Игорь с чудесами не спешил, хотя...

Тут смотря что понимать под чудесами. Взять, к примеру, цветок на подоконнике — давно увядший, он однажды взял да расцвел. А вечно ругавшаяся за стенкой парочка ни с того ни с сего помирилась, зажили душа в душу. Ну и как-то раз, гуляя по парку с коляской, Маша нашла три сложенных купюры — сумма, равнозначная ее месячному заработку в магазине. Сгодится такое для чуда? Или же скептически настроенные умы по обыкновению углядят здесь сплошь совпадения?

Впрочем, в ответе последних мы несколько не сомневаемся, поэтому самое главное приберегли на потом. В один из дней, проснувшись поутру, Маша узрела косой солнечный луч, проникший сквозь брешь в занавесках и упавший на колыбельку, откуда ей улыбался Бог Игорь. К тому времени он уже научился довольно сносно стоять на ножках, пусть и не без помощи опоры, и потому, распрямившись во весь свой крохотный рост, с нежностью смотрел на маму, звал ее непонятными словами. А солнечный луч омывал его сверкающим золотом, подчеркивая каждую пушинку у него на голове. И еще — вырисовывал некое подобие нимба. От удивления Маша даже рот раскрыла, на всякий случай протерла глаза — уж не мерещится ли ей это? Нет, это ей не мерещилось, просто она стала свидетелем одного из божьих чудес. И, любуясь этим чудом, Маша не сразу заметила, что вся ее комната тоже окрасилась в золотистые тона, явив будто бы совершенно иное место, нежели привычное пространство из четырех унылых стен, — новое, доселе невиданное место, в котором смеялся новорожденный Бог. Тогда слезы счастья выступили у Маши на гла-

зах, она слезла с кровати и, опустившись на колени, поклонилась своему сыну.

Так последний оплот скупого рационализма был сломлен. Так свершилось самое настоящее чудо, и Маша наконец обрела веру.

Что ж, где-то здесь и начинается Новейший Завет — задачка для будущих отцов церкви, а заодно и фундамент для их карьеры, теоретический базис для диссертаций грядущих полчищ богословов, а вместе с тем и причина их обязательных яростных склок. Конечно же, для спекуляций проходимцев — этих вырядившихся в овечьи шкуры волков с острыми зубами и отлично подвешенными языками, — как и для паясничанья безбожников, ни разу не слышавших о пари Паскаля, он также сгодится. Ну а мы — скромные летописцы — приступаем к заключительной части нашего апокрифического рассказа.

Бог Игорь заболел. И болезнь то была отнюдь не простая.

Поначалу, конечно, она никак не проявлялась — затаилась, гадина, терпеливо ждала своего часа. И пока час не пробил, Маша и представить себе не могла, какое будущее уготовано им с сыном. Так шли дни, неделя сменялась за неделей, и Маша начала замечать перемены в своем ребенке. Бог Игорь стал раздражительным, часто плакал — долго, изматываяюще. И ни укачивания, ни колыбельные, ни соска с теплой молочной смесью не могли его утихомирить. Он вообще потерял аппетит, исхудал, плохо спал, сделался бледным и очень-очень капризным. Тогда-то Маша и заподозрила неладное. Не то что бы она наплевательски относилась к своим родительским обязанностям, просто, как и всякая живая душа, отчаянно гнала мрачные думы прочь, надеялась на лучшее. Да и, что греха таить, уверовала-таки, что никакая напасть ее сыну нипочем, все ж он не абы кто, а сам Господь Бог!

Но, как оно частенько бывает, реальность показала свои зубы, в пух и прах разметав наивные Машины надежды, растоптав ее веру тяжелым сапогом фактов. Бог Игорь заболел, и то была не какая-нибудь залетная хворь, регулярно цеплявшаяся к беззащитным мира сего, а нечто куда более пугающее.

Так, после очередной бессонной ночи, наскоро собрав вещи, Маша подхватила Бога Игоря и помчалась в больницу, где, спу-

стя часы томительных ожиданий, врачебных консилиумов и прочего, ее огорошили страшным известием. Болезнь оказалась весьма редкой и пакостной, обнаруживалась далеко не сразу и практически не поддавалась лечению. Попытаться, разумеется, можно, но стоило это столько, что у Маши глаза на лоб полезли. В общем, заключение врачей ошеломило ее, хлестким ударом медицинского диагноза выбило почву у нее из-под ног, столкнув в черный омут отчаяния. И когда, кое-как собравшись с мыслями, Маша со слезами глянула на врачей и спросила, как же ей теперь быть, те лишь сконфужено пожали плечами, потупили взор.

Правда, уже на выходе из кабинета, одна из врачей догнала Машу, осторожно взяла ее за руку, заглянула в глаза и тихо произнесла: «Крепитесь. И да поможет вам Бог!» И в этом Маша углядела злую насмешку судьбы.

Бога Игоря оставили в больнице, и Маша порывалась остаться вместе с ним — денно и ночью бдеть у его кровати, вымаливая исцеления для родной кровиночки...

Только вот у кого вымаливать? Взывать к Богу, дабы излечил сам себя? Серьезно? Но это ж абсурд!

Так Маша впервые столкнулась с ущербностью своей веры, ощутила собственное незавидное положение, ведь, в отличие от прочих, ежечасно обращающихся к Богу по различным пустякам, надеющихся на то, что он их непременно услышит, Маша не могла воззвать к Богу. Вернее, могла и даже знала, что он ее обязательно услышит — вероятно, даже улыбнется, гулькнет чего-нибудь в ответ, — но вот исполнит ли ее просьбу, воспользуется ли своим могуществом, дабы удовлетворить ее материнские чаяния? И как вообще такое возможно, что она — Маша — просит у Бога, чтоб он исцелил сам себя!

Впрочем, быть может, тем же вопросом задавалась и та первая богоматерь — Мария которая, — распластавшись в пыли пред крестом, на котором мучительно умирал ее сын?

Так пролетели две ночи, а на третью Машу погнали вон из больницы, заявив, что своими стенаниями она все равно никому не поможет. Уж лучше пускай ступает домой, отоспится, приведет себя в порядок и подумает, где раздобыть денег на лечение.

А где ей раздобыть денег? Родственников у нее не имелось, друзей и знакомых также по пальцам сосчитать — да и то, у всех у них ветер свистел в карманах, кое-как сводили концы с концами.

Поразмыслив, Маша решила отправиться в магазин, где исправно трудилась многие годы. Директором там числился толстый напыщенный коротышка — заядлый бабник и бесстыжий гуляка, которого в свое время едва не хватил удар, когда Маша попросилась в декретный отпуск. Нет, против декретного отпуска он ничего не имел — закон есть закон, его надобно соблюдать, — просто, как все прочие мужчины, директор в упор не видел в Маше женщину. Поэтому для него стало настоящим открытием, что кто-то соизволил заделать ей ребенка.

Само собой, ни о чем божественном Маша не заикалась — директор был далек от радостей Царствия Небесного, гораздо рьяней заботился о радостях царства земного. Радости эти сводились к большому джипу, большой зарплате и большим аппетитам до изысканных блюд в ресторанах и вьющихся вокруг юбок. И Маша надеялась, что сердце у директора тоже большое, в беде не бросит, чем сможет — поможет.

Но, выслушав ее рассказ, директор нахмурился, почесал свой большой красный нос, тяжело-тяжело вздохнул, колыхнувшись большим животом, и... начал было что-то бубнить, разводить руками. Маша поняла, что помощи от него ждать бессмысленно. Сочувствует? Да. Желает ли скорейшего выздоровления ее сынишке? Всенепременно! Выручит ли хоть какой-нибудь копеечкой? Увы, увы, времена нынче тяжелые...

Тогда Маша пошла по соседям, но там ей быстро дали от ворот поворот. В банке же, напротив, ничего не дали. А на местном телеканале вовсе покрутили пальцем у виска: деньги на больных деток собирались исключительно по оговоренным спискам, в перерывах между новостями о новых ракетах и танках, на которые государство тратило бешеные суммы.

В результате домой Маша вернулась ни с чем — растоптанная, раздавленная, оглушенная внезапной тишиной своей квартирки, в которой отныне не было слышно ее ребенка. Ее Бога. И чувство накатило такое, словно заживо вывернули наизнанку. В сердце колело, как если бы в него вонзили острый меч. Может, даже и не один. Больно, очень-очень больно. Да и отражение в зеркале

вновь переменялось: взамен лучезарной богородицы с живым божеством на руках Маша обнаружила осунувшуюся, поблекшую тень с кровоточащим в растерзанной груди куском мяса, в которое были воткнуты семь острых лезвий — три слева, три справа и одно аккуратно посередке.

Не в силах вынести этого зрелища, Маша сорвала зеркало со стены и расшибла его вдребезги. Потом разрыдалась. А после вспомнила о подарках, которые когда-то — будто бы давным-давно — вручила ей троица дворовых королей.

Тогда она достала с дальней полки бутылку дешевенького вина, не забыв при этом про сигареты со спичками, разложила все это на столе и молча опустила на стул. Минуту-другую сидела неподвижно, боролась с собой, но... быстро сдалась. Откупорив пробку, сделала несколько жадных глотков.

Поморщилась.

Достав из пачки сигарету, чиркнула спичкой и затянулась.

Закашлялась.

Всхлипнула, выпила еще — и еще, и еще, до тех пор, пока бутылка не опустела.

Снова затянулась, согнулась в три погибели, выкашляв сизый табачный дым...

...и почувствовала, как мало-помалу боль отступает.

Нам неизвестно, как в голове рождается мысль. Как поначалу она таится, скрываясь где-то в закоулках, как наливается силой, постепенно вызревая в нечто большее, нежели пустое размышление, готовясь захватить человека, подчинить его своей воле и обернуться решением. Пускай о том и написана уйма книг, активно и даже агрессивно унижающих мысль до обычного электроимпульса, якобы проскакивающего между нейронами, в целом же природа зарождения мысли в ее философском понимании как была загадкой, так ею и остается.

Здесь не лишним будет напомнить, что пути Господни неисповедимы и зачастую в самые неожиданные места приводят они. На мысли, блуждающие у людей в мозгах, это правило тоже распространяется.

Да, так было в тот раз, когда Маша осознала, что беременна Богом, так стало и теперь. И потому мы не в состоянии внятно отве-

тить, когда и каким именно образом Маша пришла к тому, к чему в итоге пришла. Лишь предположим, что, впервые столкнувшись с подобной мыслью, Маша испытала неопиcуемый ужас — настолько кошмарным, настолько отвратительным было то, что породил ее разум.

Но время журчало дальше, болезнь прогрессировала, и Богу Игорю становилось только хуже. В те ночи, когда Машу не выставляли из больницы, она дежурила у его кровати — смотрела на него, натурально расхристанного, шептала колыбельные, гладила, ласкала, всячески пыталась успокоить, как-то облегчить его муки. Иногда даже тихонько молилась, упрашивала (сына ли? Бога?) смилостивиться, разделить с ней его боль, которая, в голой сути своей, все больше напоминала агонию. Молитвы оставались без ответа, и холодок безверия постепенно обуcтраивался в измученной Машинной душе.

А с другой стороны, зло рассуждала Маша, какой прок от веры, если она не в силах избавить малютку от страданий? Зачем вообще нужна эта дурацкая вера! Тьфу!..

После ярость угасала, Маша утирала слезы, всхлипывала: мать, не способная помочь своему ребенку; верующая, усомнившаяся во всеcильности своего божества...

В такие моменты кошмарная, отвратительная мысль, встрепенувшись, подкрадывалась к Маше и норовила сцапать ее, схватить крепко-накрепко и не отпускать — отчего по коже скакали мурашки. Но мысль была еще крайне слаба, и Маша легко гнала ее прочь.

Так проходили ночи, а днем Маша обивала пороги всевозможных благотворительных фондов, просила помощи, в ответ же получала отговорки. Даже-таки забрела во храм — отнюдь не богородица, просто отчаявшийся человек, — но попы на ее рассказ лишь недоверчиво покачали головами, попеняли ей, что некрещеная, и поухали, аки филины, в свои пышные бороды, мол, мужайся, женщина, ибо все скорбящие однажды утешатся. На этом и спровадили — с Богом, на все четыре стороны. Маша мужалась, как могла, но все чаще, если ее не пускали в больницу, плелась в магазин за вином; дома воспаленными от слез глазами вглядывалась в ночной сумрак, отмахивалась от жужжащих в голове мыслей и выла — так выла, что соседи рассерженно колотили по трубам.

Известно, что вино заглушает страдания, а страдания, по мнению церкви, очищают человека пред взором Божиим. Избегая страданий, злоупотребляя вином, человек становится грязным, противен он Господу. Трудно сказать, стала ли Маша противна своему сынишке, но вот медсестры в больнице все чаще поглядывали на нее с неприкрытой брезгливостью, все больше ворчали, а однажды взяли да вызвали квадратномордную тетку из комиссии по делам несовершеннолетних. Тетка та была в звании капитана, а еще была явно не в духе. Она с порога накинулась на Машу, разнесла ее в пух и прах: и пьет-то Маша не просыхая, и выглядит-то как черт-те что, и дома-то у ней, небось, грязь и тараканы. А может, и шляются к ней всякие, раз уж живет одна, без мужа. Маша даже и не пыталась защищаться, только смотрела на тетку, слушала ее брань. Лишь однажды вздрогнула — когда тетка заявила, что если Маша тотчас не образумится, то ребеночка у нее заберут. «Изымут, — сказала тетка, — и будет о нем заботиться государство». На этом, посчитав свою миссию исполненной, удалилась.

А Маша сидела у кровати своего ребенка, дрожала, утирала слезы. Она думала над теткиными словами, вспоминала свою жизнь в детском доме. Вот, стало быть, какова забота государства — отнять у матери единственного сына, запереть его в холодных стенах на пару с высокомерными попами и остервенелыми нянечками. И что это, как не избиение младенцев, поругание материнства, учиненное князем мира сего, который, если вслушаться в его имя, действительно владеет этим миром. Государством уж точно владеет.

Так она рассуждала, будучи в полном расстройстве чувств.

Нет, правда, — что учудит та квадратномордая, когда опять припрется? Неужто в самом деле «изымет» Бога Игоря в детский дом? Но разве это не абсурдно — Бог-сирота?! И разве не возопит он однажды: «Мама, мама, на кого ты меня оставила!»?

Зачем миру несчастный, обездоленный Бог? Зачем он вообще сдался миру?! В прошлый раз мир не церемонился с Богом, в этот раз наверняка тоже не станет. Ведь миру не нужен Бог — не-а, совсем не нужен. У мира есть церковь, в которой полно расписных икон, дорогущих свечей и пафосных песнопений, в достатке и всяких мудреных ритуалов. Только для Бога места нету. И если

таковой вдруг объявится, то мир тут же попытается убрать его с глаз долой, спрятать куда подальше — желательно, обратно на небеса. А поскольку чудес мир творить не умеет, то и путь на небеса для Бога один — через могилу...

Так рассуждала Маша, и, возможно, она бы еще много чего на-рассуждала, но тут Бог Игорь проснулся и захныкал — от боли. И Маша заплакала вместе с ним — от безысходности.

Вероятно, именно в этот момент та страшная мысль пожаловала снова. Но теперь уже не стала уходить, а осталась вместе с Машей.

В ту ночь за окном сверкали молнии, и непроглядная тьма окутала город. А в опустевшем больничном коридоре мерцали-потрескивали себе лампочки, изредка поскрипывала на петлях дверь, сладко посапывала дежурная медсестра.

Маша же ходила взад-вперед по палате, баюкала своего ребенка, тихо напевала ему и рыдала. Бог Игорь потускнел, стал легким, как перышко: коварная болезнь высосала из него все соки, забрала весь его свет, взамен оставив лишь боль. И когда он, измученный, все же уснул, Маша уложила его на кроватку, укрыла одеялом и... застыла в изголовье с подушкой в руках.

Нам трудно писать о том, что произошло дальше. Хотелось бы избежать подробностей, по возможности опустить все случившееся. Вместо этого мы бы лучше порассуждали о причинах, побудивших Машу к такому поступку...

Но в праве ли мы рассуждать о том, что движет матерью, собирающейся убить собственное дитя? Как и о том, что движет верующим, покушающимся на свое божество?

Ответ нам слишком хорошо известен. Поэтому, в качестве компромисса, мы лишь приподнимем завесу над тем, что творилось в голове самой Маши — нашей неприметной Богородицы, нашей вопиюще заурядной героини, на чью долю выпало столь тяжкое испытание.

И здесь читатель резонно задастся вопросом: а откуда нам, собственно, знать, что там творилось у Маши в голове? Уж не во все-сильного ли автора решили мы поиграть? Уж не хотим ли взять на себя роль того, кто в курсе всех событий и от чьего пронзающего взора не скрыться?

Это хороший вопрос, и читательские опасения мы вполне разделяем. Но узнали мы все от самой Маши, когда навещали ее в той тесной затхлоЙ клетушке, где бедняжка проведет остаток дней. Там она все нам и рассказала — от начала и до конца, — и свой рассказ охарактеризовала как «евангелие». Судя по всему, Маша не совсем разобралась со значением этого слова — с буквальным его переводом уж точно, — но мы не стали ее поправлять. Напротив, в знак уважения к ее трагедии даже поместили это слово в заглавии.

Итак, Маша прекрасно отдавала себе отчет в том, что делает. Она догадывалась, как люди воспримут ее поступок: верующие назовут ее богоубийцей, неверующие — детоубийцей. Но разве это не просто слова? Также она понимала, что ее проклянут, будут бить-судить и в итоге приговорят.

Но разве это не меркнет в сравнении с той болью, какую испытывал ее сын?

Она помнила, что однажды Бог пришел в мир и умер телом за грехи человечества, и подозревала, что теперь ей предстоит отважиться на еще более отчаянный шаг — умереть душой во искупление... чего? грехов Бога? Этого Маша не знала, так как многие места в черной книге по-прежнему оставались для нее загадкой. Но она очень надеялась, что поступок ее, продиктованный исключительно состраданием — к своему сыну, к своему божеству, — будет истолкован верно — не на земле, так на небе, — как одна из форм мученичества, самая редкая из его форм.

Ведь, возможно, и библейский Иуда вовсе не был злодеем, как его повсеместно рисуют, но тем, на кого Иисус возложил главную миссию — предать Бога, дабы свершилось пророчество?..

А еще Маша думала о том, что если Мария — та, которая первая, — оплакивала своего замученного ребенка, то остальные в большей степени оплакивали друга, учителя. Одним словом — человека. Но хоть кто-нибудь из них оплакивал Бога?..

Много еще о чем думала Маша, стоя у изголовья кровати с подушкой в руках.

А потом она положила подушку на лицо Бога Игора, навалилась сверху всем телом, и все то время, пока он кряхтел под ней, ждала, ждала — что вот сейчас, буквально через мгновение, мир распа-

дется на части, лопнет, сгорит в огне, бесследно сгинет в адских безднах...

Но когда хрипы стихли, лишь одиноко вспыхнула и тотчас потухла лампочка в коридоре. Ну, а мир — нет, он не исчез в одночасье, не лопнул, будто мыльный пузырь, и не низвергся в адские бездны.

Он все так же продолжал существовать.

Здесь и заканчивается история Богородицы Маши, совершившей столь ужасное деяние для мира с точки зрения самого мира, а вместе с тем и отважившейся на столь неслыханную милость для обреченного на страдания Бога...

Или только своего сына?

Все-таки, признаем, нам неизвестно доподлинно, был ли ее ребенок Богом или же Маша все выдумала. Но, с другой стороны, разве для матери ее дитя изначально не является божеством — без религиозных предрассудков, без всевозможных фантастических домыслов, исключительно как есть? И разве во имя такого вот божества мать не отдаст себя на закляние — даже если закляние грозит растянуться на всю жизнь?

Ведь много кто готов принести себя в жертву, бросившись в объятия смерти. Умирать во имя идеи вообще легко. Куда сложнее жить, неся на себе бремя собственного поступка — крест этот исключительно для избранных.

Избранность же эта подобна незаживающей ране в душе, а рана размером с Бога. И с этим нашей Маше предстоит жить дальше.

Быть может, не ей одной.

В конце концов, кто знает, сколько уже было таких Маш?

А сколько их еще будет?..

